

УДК 821.161.1-32  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44  
С60

Оформление серии «Всемирная литература  
(с картинкой)» *Н. Ярусовой*

В оформлении обложки использованы фрагменты работы  
художника *Николая Ярошенко*

Дизайн и оформление серии «КиС  
(Классическая и Современная литература)» *Николая Ткача*

**Солженицын, Александр Исаевич.**

С60      Один день Ивана Денисовича : рассказы / Александр  
Солженицын. — Москва : Эксмо, 2023. — 320 с.

ISBN 978-5-04-122426-4

(Всемирная литература (с картинкой))

ISBN 978-5-04-191760-9

(КиС (Классическая и Современная литература))

Александр Исаевич Солженицын (1918—2008) — русский писатель, лауреат Нобелевской премии (1970), лауреат Государственной премии Российской Федерации за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности (2006). Болью и великой верой в сохранение человеческой души проникнуто все его творчество. В книгу вошли его знаковые рассказы 60-х годов «Один день Ивана Денисовича», «Матренин двор», «Правая кисть», «Захар-Калита», «Случай на станции Кочетовка» и миниатюры, названные самим автором «крохотками» (1958—1963).

УДК 821.161.1-32

ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-04-122426-4  
ISBN 978-5-04-191760-9

© Солженицын А.И., наследники, 2023  
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2023

## ОДИН ДЕНЬ ИВАНА ДЕНИСОВИЧА

**В** пять часов утра, как всегда, пробило подъём — молотком об рельс у штабного барака. Перерывистый звон слабо прошёл сквозь стёкла, намёрзшие в два пальца, и скоро затих: холодно было, и надзирателю неохота была долго рукой махать.

Звон утих, а за окном всё так же, как и среди ночи, когда Шухов вставал к параше, была тьма и тьма, да попадало в окно три жёлтых фонаря: два — на зоне, один — внутри лагеря.

И барака что-то не шли отпирать, и не слышать было, чтобы дневальные брали бочку парашную на палки — выносить.

Шухов никогда не просыпал подъёма, всегда вставал по нему — до развода было часа полтора времени своего, не казённого, и кто знает лагерную жизнь, всегда может подработать: шить кому-нибудь из старой подкладки чехол на рукавички; богатому бригаднику подать сухие валенки прямо на койку, чтоб ему босиком не топтаться вкруг кучи, не выбирать; или пробежать по каптёркам, где кому надо услужить, подмести или поднести что-нибудь; или идти в столовую собирать миски со столов и сносить их горками в посудомойку — тоже накормят, но там охотников много, отбою нет, а главное — если в миске что осталось, не удержишься, начнёшь миски лизать. А Шухову крепко запомнились слова его первого бригадира Кузёмина — старый был лагерный волк, сидел к девятьсот сорок третьему году уже двенадцать лет, и своему пополнению, привезенному с фронта, как-то на голой просеке у костра сказал:

— Здесь, ребята, закон — тайга. Но люди и здесь живут. В лагере вот кто поддыхает: кто миски лижет, кто на санчасть надеется да кто к куму ходит стучать.

Насчёт кума — это, конечно, он загнул. Те-то себя берегают. Только береженье их — на чужой крови.

Всегда Шухов по подъёму вставал, а сегодня не встал. Ещё с вечера ему было не по себе, не то знобило, не то ломало. И ночью не угрелся. Сквозь сон чудилось — то вроде совсем заболел, то отходил маленько. Всё не хотелось, чтобы утро.

Но утро пришло своим чередом.

Да и где тут угреешься — на окне наледи намётано, и на стенах вдоль стыка с потолком по всему барaku — здоровый барак! — паутинка белая. Иней.

Шухов не вставал. Он лежал на верху вагонки, с головой накрывшись одеялом и бушлатом, а в телогрейку, в один подвёрнутый рукав, сунув обе ступни вместе. Он не видел, но по звукам всё понимал, что делалось в бараке и в их бригадном углу. Вот, тяжело ступая по коридору, дневальные понесли одну из восьмиведерных параш. Считается инвалид, лёгкая работа, а ну-ка поди вынеси, не проля! Вот в 75-й бригаде хлопнули об пол связку валенок из сушилки. А вот — и в нашей (и наша была сегодня очередь валенки сушить). Бригадир и помбригадир обуваются молча, а вагонка их скрипит. Помбригадир сейчас в хлеборезку пойдёт, а бригадир — в штабной барак, к нарядчикам.

Да не просто к нарядчикам, как каждый день ходит, — Шухов вспомнил: сегодня судьба решается — хотят их 104-ю бригаду фугануть со строительства мастерских на новый объект «Соцгородок». А Соцгородок тот — поле голое, в увалах снежных, и, прежде чем что там делать, надо ямы копать, столбы ставить и колючую проволоку от себя самих натягивать — чтоб не убежать. А потом строить.

Там, верное дело, месяц погреться негде будет — ни конурки. И костра не разведёшь — чем топить? Вкалывай на совесть — одно спасение.

Бригадир озабочен, уладить идёт. Какую-нибудь другую бригаду, нерасторопную, заместо себя туда толкануть. Конечно, с пустыми руками не договоришься. Полкило сала старшему нарядчику понести. А то и килограмм.

Испыток не убыток, не попробовать ли в санчасти *косануть*, от работы на денёк освободиться? Ну прямо всё тело разнимает.

И ещё — кто из надзирателей сегодня дежурит?

Дежурит — вспомнил — Полтора Ивана, худой да долгий сержант черноокий. Первый раз глянешь — прямо страшно, а узнали его — из всех дежурняков покладистей: ни в карцер не сажает, ни к начальнику режима не таскает. Так что полежать можно, аж пока в столовую девятым барак.

Вагонка затряслась и закачалась. Вставали сразу двое: наверху — сосед Шухова баптист Алёшка, а внизу — Буйновский, капитан второго ранга бывший, кавторанг.

Старики дневальные, вынеся обе параша, забранились, кому идти за кипятком. Бранились привязчиво, как бабы. Электросварщик из 20-й бригады рывкнул:

— Эй, *фитил!* — и запустил в них валенком. — Помирю!

Валенок глухо стукнулся об столб. Замолчали.

В соседней бригаде чуть буркотел помбригадир:

— Василь Фёдорыч! В продстоле передёрнули, гады: было девятисоток четыре, а стало три только. Кому ж недодать?

Он тихо это сказал, но уж конечно вся та бригада слышала и затаилась: от кого-то вечером кусочек отрежут.

А Шухов лежал и лежал на спрессовавшихся опилках своего матрасика. Хотя бы уж одна сторона брала — или забито бы в ознобе, или ломота прошла. А ни то ни сё.

Пока баптист шептал молитвы, с ветерка вернулся Буйновский и объявил никому, но как бы злорадно:

— Ну, держись, краснофлотцы! Тридцать градусов верных!

И Шухов решился — идти в санчасть.

И тут же чья-то имеющая власть рука сдёрнула с него телогрейку и одеяло. Шухов скинул бушлат с лица, припод-

нялся. Под ним, равняясь головой с верхней нарой вагонки, стоял худой Татарин.

Значит, дежурил не в очередь он и прокрался тихо.

— Ше-восемьсот пятьдесят четыре! — прочёл Татарин с белой латки на спине чёрного бушлата. — Трое суток *кондея с выводом!*

И едва только раздался его особый сдавленный голос, как во всём полутёмном бараке, где лампочка горела не каждая, где на полусотне клопяных вагонок спало двести человек, сразу заворочались и стали поспешно одеваться все, кто ещё не встал.

— За что, гражданин начальник? — придавая своему голосу больше жалости, чем испытывал, спросил Шухов.

С выводом на работу — это ещё полкарцера, и горячее дадут, и задумываться некогда. Полный карцер — это когда *без вывода.*

— По подъёму не встал? Пошли в комендатуру, — пояснил Татарин лениво, потому что и ему, и Шухову, и всем было понятно, за что кондей.

На безволосом мятом лице Татарина ничего не выражалось. Он обернулся, ища второго кого бы, но все уже, кто в полутьме, кто под лампочкой, на первом этаже вагонок и на втором, проталкивали ноги в чёрные ватные брюки с номерами на левом колене или, уже одетые, запахивались и спешили к выходу — переждать Татарина на дворе.

Если б Шухову дали карцер за что другое, где б он заслужил, — не так бы было обидно. То и обидно было, что всегда он вставал из первых. Но отпроситься у Татарина было нельзя, он знал. И, продолжая отпрашиваться просто для порядка, Шухов, как был в ватных брюках, не снятых на ночь (повыше левого колена их тоже был пришит затасканный, погрязневший лоскут, и на нём выведен чёрной, уже поблекшей краской номер Щ-854), надел телогрейку (на ней таких номера было два — на груди один и один на спине), выбрал свои валенки из кучи на полу, шапку надел (с таким же лоскутом и номером спереди) и вышел вслед за Татариним.

Вся 104-я бригада видела, как уводили Шухова, но никто слова не сказал, ни к чему, да и что скажешь? Бригадир бы мог маленько вступиться, да уж его не было. И Шухов тоже никому ни слова не сказал, Татарина не стал дразнить. Приберегут завтрак, догадаются.

Так и вышли вдвоём.

Мороз был со мглой, прихватывающей дыхание. Два больших прожектора били по зоне наперекрест с дальних угловых вышек. Светили фонари зоны и внутренние фонари. Так много их было наткано, что они совсем засветляли звёзды.

Скрипя валенками по снегу, быстро пробегали эки по своим делам — кто в уборную, кто в каптёрку, иной — на склад посылок, тот крупу сдавать на индивидуальную кухню. У всех у них голова ушла в плечи, бушлаты запахнуты, и всем им холодно не так от мороза, как от думки, что и день целый на этом морозе пробыть.

А Татарин в своей старой шинели с замусленными голубыми петлицами шёл ровно, и мороз как будто совсем его не брал.

Они прошли мимо высокого дощаного заплота вокруг БУРа — каменной внутрилагерной тюрьмы; мимо колючки, охранявшей лагерную пекарню от заключённых; мимо угла штабного барака, где, толстой проволокою подхваченный, висел на столбе обындевевший рельс; мимо другого столба, где в затишке, чтоб не показывал слишком низко, весь обмётанный инеем, висел термометр. Шухов с надеждой покосился на его молочно-белую трубочку: если б он показал сорок один, не должны бы выгонять на работу. Только никак сегодня не натягивало на сорок.

Вошли в штабной барак и сразу же — в надзирательскую. Там разъяснилось, как Шухов уже смекнул и по дороге: никакого карцера ему не было, а просто пол в надзирательской не мыт. Теперь Татарин объявил, что прощает Шухова, и велел ему вымыть пол.

Мыть пол в надзирательской было дело специального ээка, которого не выводили за зону, — дневального по штаб-

ному бараку прямое дело. Но, давно в штабном бараке обжившись, он доступ имел в кабинеты майора, и начальника режима, и кума, услуживал им, порой слышал такое, чего не знали и надзиратели, и с некоторых пор посчитал, что мыть полы для простых надзирателей ему приходится как бы низко. Те позвали его раз, другой, поняли, в чём дело, и стали *дёргать* на полы из работяг.

В надзирательской яро топилась печь. Раздевшись до грязных своих гимнастёрок, двое надзирателей играли в шашки, а третий, как был, в перепоясанном тулупе и валенках, спал на узкой лавке. В углу стояло ведро с тряпкой.

Шухов обрадовался и сказал Татарину за прощение:

— Спасибо, гражданин начальник! Теперь никогда не буду залёживаться.

Закон здесь был простой: кончишь — уйдёшь. Теперь, когда Шухову дали работу, вроде и ломать перестало. Он взял ведро и без рукавичек (наскорях забыл их под подушкой) пошёл к колодцу.

Бригадиры, ходившие в ППЧ — планово-производственную часть, столпились несколько у столба, а один, помоложе, бывший Герой Советского Союза, взлез на столб и протирал термометр.

Снизу советовали:

— Ты только в сторону дыши, а то поднимется.

— Фуимется! — поднимется!.. не влияет.

Тюрина, шуховского бригадира, меж них не было. Поставив ведро и сплетя руки в рукава, Шухов с любопытством наблюдал.

А тот хрипло сказал со столба:

— Двадцать семь с половиной, хреновина.

И ещё доглядев для верности, спрыгнул.

— Да он неправильный, всегда брешет, — сказал кто-то. — Разве правильный в зоне повесят?

Бригадиры разошлись. Шухов побежал к колодцу. Под спущенными, но незавязанными наушниками поламывало уши морозом.

Сруб колодца был в толстой обледи, так что едва пролезало в дыру ведро. И верёвка стояла колём.

Рук не чувствуя, с дымящимся ведром Шухов вернулся в надзирательскую и сунул руки в колодезную воду. Потёпело.

Татарина не было, а надзирателей сбилось четверо, они покинули шашки и сон и спорили, по скольку им дадут в январе пшена (в посёлке с продуктами было плохо, и надзирателям, хоть карточки давно кончились, продавали кой-какие продукты отдельно от поселковых, со скидкой).

— Дверь-то притягивай, ты, падло! Дует! — отвлёкся один из них.

Никак не годилось с утра мочить валенки. А и переобуться не во что, хоть и в барак побегу. Разных порядков с обувью наглядился Шухов за восемь лет сидки: бывало, и вовсе без валенок зиму перехаживали, бывало, и ботинок тех не видели, только лапти да ЧТЗ (из резины обутка, след автомобильный). Теперь вроде с обувью подналадилось: в октябре получил Шухов (а почему получил — с помбригадиром вместе в каптёрку увязался) ботинки дюжие, твердоносые, с простором на две тёплых портянки. С неделю ходил как именинник, всё новенькими каблучками постукивал. А в декабре валенки подоспели — житуха, умирать не надо. Так какой-то чёрт в бухгалтерии начальнику нашептал: валенки, мол, пусть получают, а ботинки сдадут. Мол, непорядок — чтобы зэк две пары имел сразу. И пришлось Шухову выбирать: или в ботинках всю зиму навывлет, или в валенках, хошь бы и в оттепель, а ботинки отдай. Берёт, солидолом умягчал, ботинки новёхонькие, ах! — ничего так жалко не было за восемь лет, как этих ботинков. В одну кучу скинули, весной уж твои не будут. Точно, как лошадей в колхоз сгоняли.

Сейчас Шухов так догадался: проворно вылез из валенок, составил их в угол, скинул туда портянки (ложка звякнула на пол; как быстро ни снаряжался в карцер, а ложку не забыл) и босиком, щедро разливая тряпкой воду, ринулся под валенки к надзирателям.



— Ты! гад! потише! — спохватился один, подбирая ноги на стул.

— Рис? Рис по другой норме идёт, с рисом ты не равняй!

— Да ты сколько воды набираешь, дурак? Кто ж так моет?

— Гражданин начальник! А иначе его не вымоешь. Въе-лась грязь-то...

— Ты хоть видал когда, как твоя баба полы мыла, чушка?

Шухов распрямился, держа в руке тряпку со стекающей водой. Он улыбнулся простодушно, показывая недостаток зубов, прореженных цингой в Усть-Ижме в сорок третьем году, когда он доходил. Так доходил, что кровавым поносом начисто его проносило, истощённый желудок ничего принимать не хотел. А теперь только шепелявень от того времени и осталось.

— От бабы меня, гражданин начальник, в сорок первом году отставили. Не упомню, какая она и баба.

— Так вот они моют... Ничего, падлы, делать не умеют и не хотят. Хлеба того не стоят, что им дают. Дерьмом бы их кормить.

— Да на хрена его и мыть каждый день? Сырость не переводится. Ты вот что, слышь, восемьсот пятьдесят четвёртый! Ты легонько протри, чтоб только мокровато было, и вали отсюда.

— Рис! Пшёнку с рисом ты не равняй!

Шухов бойко управлялся.

Работа — она как палка, конца в ней два: для людей делаешь — качество дай, для начальника делаешь — дай пока-зуху.

А иначе б давно все подошли, дело известное.

Шухов протёр доски пола, чтобы пятен сухих не осталось, тряпку невыжатую бросил за печку, у порога свои валенки натянул, выплеснул воду на дорожку, где ходило начальство, — и наискось, мимо бани, мимо тёмного охолодавшего здания клуба, надал к столовой.

Надо было ещё и в санчасть поспеть, ломало опять всего. И ещё надо было перед столовой надзирателям не попасться:

был приказ начальника лагеря строгий — одиночек отставших ловить и сажать в карцер.

Перед столовой сегодня — случай такой дивный — толпа не густилась, очереди не было. Заходи.

Внутри стоял пар, как в бане, — напуски мороза от дверей и пар от баланды. Бригады сидели за столами или толкались в проходах, ждали, когда места освободятся. Прокликаясь через тесноту, от каждой бригады работяги по два, по три носили на деревянных подносах миски с баландой и кашей и искали для них места на столах. И всё равно не слышит, обалдуй, спина еловая, на тебе, толкнул поднос. Плесь, плесь! Рукой его свободной — по шее, по шее! Правильно! Не стой на дороге, не высматривай, где подлизать.

Там, за столом, ещё ложку не окунувши, парень молодой крестится. Бендеровец, значит, и то новичок: старые бендеровцы, в лагере пожив, от креста отстали.

А русские — и какой рукой креститься забыли.

Сидеть в столовой холодно, едят больше в шапках, но не спеша, вылавливая разварки тленной мелкой рыбёшки из-под листьев чёрной капусты и выплёвывая косточки на стол. Когда их наберётся гора на столе — перед новой бригадой кто-нибудь смахнёт, и там они дохрястывают на полу.

А прямо на пол кости плевать — считается вроде бы неаккуратно.

Посреди барака шли в два ряда не то столбы, не то подпорки, и у одного из таких столбов сидел однобригадник Шухова Фетюков, стерёг ему завтрак. Это был из последних бригадников, поплоче Шухова. Снаружи бригада вся в одних чёрных бушлатах и в номерах одинаковых, а внутри шибко неравно — ступеньками идёт. Буйновского не посадишь с миской сидеть, а и Шухов не всякую работу возьмёт, есть пониже.

Фетюков заметил Шухова и вздохнул, уступая место.

— Уж застыло всё. Я за тебя есть хотел, думал — ты в кондее.

И — не стал ждать, зная, что Шухов ему не оставит, обе миски отштукатурит дочиста.

Шухов вытянул из валенка ложку. Ложка та была ему дорога, прошла с ним весь север, он сам отливал её в песке из алюминиевого провода, на ней и наколка стояла: «Усть-Ижма, 1944».

Потом Шухов снял шапку с бритой головы — как ни холодно, но не мог он себя допустить есть в шапке — и, взмучивая отстоявшуюся баланду, быстро проверил, что там попало в миску. Попало так, средне. Не с начала бака наливали, но и не доболтки. С Фетюкова станет, что он, миску стережа, из неё картошку выловил.

Одна радость в баланде бывает, что горяча, но Шухову досталась теперь совсем холодная. Однако он стал есть её так же медленно, внимательно. Уж тут хоть крыша гори — спешить не надо. Не считая сна, лагерник живёт для себя только утром десять минут за завтраком, да за обедом пять, да пять за ужином.

Баланда не менялась ото дня ко дню, зависело — какой овощ на зиму заготовят. В летошнем году заготовили одну солёную морковку — так и прошла баланда на чистой моркошке с сентября до июня. А нонче — капуста чёрная. Самое сытное время лагернику — июнь: всякий овощ кончается, и заменяют крупой. Самое худое время — июль: крапиву в котёл секут.

Из рыбки мелкой попадались всё больше кости, мясо с костей сварилось, развалилось, только на голове и на хвосте держалось. На хрупкой сетке рыбьего скелета не оставив ни чешуйки, ни мясинки, Шухов ещё мял зубами, высасывал скелет — и выплёвывал на стол. В любой рыбе ел он всё, хоть жабры, хоть хвост, и глаза ел, когда они на месте попадались, а когда вываривались и плавали в миске отдельно — большие рыбы глаза — не ел. Над ним за то смеялись.

Сегодня Шухов сэкономил: в барак не зашедши, пайки не получил и теперь ел без хлеба. Хлеб — его потом отдельно нажать можно, ещё сытей.

На второе была каша из магары. Она застыла в один слиток, Шухов её отламывал кусочками. Магара не то что холодная — она и горячая ни вкуса, ни сытости не оставляет: трава и трава, только жёлтая, под вид пшена. Придумали давать её вместо крупы, говорят — от китайцев. В варёном весе триста грамм тянет — и лады: каша не каша, а идёт за кашу.

Облизав ложку и засунув её на прежнее место в валенок, Шухов надел шапку и пошёл в санчасть.

Было всё так же темно в небе, с которого лагерные фонари согнали звёзды. И всё так же широкими струями два прожектора резали лагерную зону. Как этот лагерь, Особый, зачинали — ещё фронтowych ракет осветительных больно много было у охраны, чуть погаснет свет — сыпят ракетами над зоной, белыми, зелёными, красными, война настоящая. Потом не стали ракет кидать. Или дороги обходятся?

Была всё та же ночь, что и при подъёме, но опытному глазу по разным мелким приметам легко было определить, что скоро ударят развод. Помощник Хромого (дневальный по столовой Хромой от себя кормил и держал ещё помощника) пошёл звать на завтрак инвалидный шестой барак, то есть не выходящих за зону. В культурно-воспитательную часть поплёлся старый художник с бородкой — за краской и кисточкой, номера писать. Опять же Татарин широкими шагами, спеша, пересек *линейку* в сторону штабного барака. И вообще снаружи народу поменело — значит, все приткнулись и греются последние сладкие минуты.

Шухов проворно спрятался от Татарина за угол барака: второй раз попадёшься — опять пригребётся. Да и никогда зевать нельзя. Стараться надо, чтоб никакой надзиратель тебя в одиночку не видел, а в толпе только. Может, он человека ищет на работу послать, может, зло отвести не на ком. Читали ж вот приказ по баракам — перед надзирателем за пять шагов снимать шапку и два шага спустя надеть. Иной надзиратель бредёт, как слепой, ему всё равно, а для других это сласть. Сколько за ту шапку в кондей перетаскали, псы клятые. Нет уж, за углом перестоим.

Миновал Татарин — и уже Шухов совсем намерился в санчасть, как его озарило, что ведь сегодня утром до развода назначил ему длинный латыш из седьмого барака прийти купить два стакана самосада, а Шухов захлопотался, из головы вон. Длинный латыш вечером вчера получил посылку, и, может, завтра уж этого самосаду не будет, жди тогда месяц новой посылки. Хороший у него самосад, крепкий в меру и духовитый. Буроватенький такой.

Раздосадовался Шухов, затоптался — не повернуть ли к седьмому бараку. Но до санчасти совсем мало оставалось, и он потрусил к крыльцу санчасти.

Слышно скрипел снег под ногами.

В санчасти, как всегда, до того было чисто в коридоре, что страшно ступать по полу. И стены крашены эмалевой белой краской. И белая вся мебель.

Но двери кабинетов были все закрыты. Врачи-то, поди, ещё с постелей не подымались. А в дежурке сидел фельдшер — молодой парень Коля Вдовушкин, за чистым столиком, в свеженьком белом халате — и что-то писал.

Никого больше не было.

Шухов снял шапку, как перед начальством, и, по лагерной привычке лезть глазами куда не следует, не мог не заметить, что Николай писал ровными-ровными строчками и каждую строчку, отступя от края, аккуратно одну под одной начинал с большой буквы. Шухову было, конечно, сразу понятно, что это — не работа, а по левой, но ему до того не было дела.

— Вот что... Николай Семёныч... я вроде это... болен... — совестливо, как будто зарясь на что чужое, сказал Шухов.

Вдовушкин поднял от работы спокойные, большие глаза. На нём был чепчик белый, халат белый, и номеров видно не было.

— Что ж ты поздно так? А вечером почему не пришёл? Ты же знаешь, что утром приёма нет? Список освобождённых уже в ППЧ.

Всё это Шухов знал. Знал, что и вечером освободиться не проще.

— Да ведь, Коля... Оно с вечера, когда нужно, так и не болит...

— А что — оно? Оно — что болит?

— Да разобраться, бывает, и ничего не болит. А недужит всего.

Шухов не был из тех, кто липнет к санчасти, и Вдовушкин это знал. Но право ему было дано освободить утром только двух человек — и двух он уже освободил, и под зеленоватым стеклом на столе записаны были эти два человека и подведена черта.

— Так надо было беспокоиться раньше. Что ж ты — под самый развод? На!

Вдовушкин вынул термометр из банки, куда они были спущены сквозь прорези в марле, обтёр от раствора и дал Шухову держать.

Шухов сел на скамейку у стены, на самый краешек, только-только чтоб не перекувырнуться вместе с ней. Неудобное место такое он избрал даже не нарочно, а показывая неволью, что санчасть ему чужая и что пришёл он в неё за малым.

А Вдовушкин писал дальше.

Санчасть была в самом глухом, дальнем углу зоны, и звуки сюда не достигали никакие. Ни ходики не стучали — заключённым часов не положено, время за них знает начальство. И даже мыши не скребли — всех их повыловил больничный кот, на то поставленный.

Было дивно Шухову сидеть в такой чистой комнате, в тишине такой, при яркой лампе целых пять минут и ничего не делать. Осмотрел он все стены — ничего на них не нашёл. Осмотрел телогрейку свою — номер на груди пообтёрся, каб не зацапали, надо подновить. Свободной рукой ещё бороду опробовал на лице — здоровая выперла, с той бани растёт, дней боле десяти. А и не мешает. Ещё дня через три баня бу-

дет, тогда и поброют. Чего в парикмахерской зря в очереди сидеть? Красоваться Шухову не для кого.

Потом, глядя на беленький-беленький чепчик Вдовушкина, Шухов вспомнил медсанбат на реке Ловать, как он пришёл туда с повреждённой челюстью и — недотыка ж хренова! — доброй волею в строй вернулся. А мог пяток дней полежать.

Теперь вот грезится: заболеть бы недельки на две, на три, не насмерть и без операции, но чтобы в больничку положили, — лежал бы, кажется, три недели, не шевельнулся, а уж кормят бульоном пустым — лады.

Но, вспомнил Шухов, теперь и в больничке отлёжу нет. С каким-то этапом новый доктор появился — Степан Григорьич, гонкий такой да звонкий, сам сумутится, и больным нет покою: выдумал всех ходячих больных выгонять на работу при больнице: загородку городить, дорожки делать, на клумбы землю нанашивать, а зимой — снегозадержание. Говорит, от болезни работа — первое лекарство.

От работы лошади дохнут. Это понимать надо. Ухайдакался бы сам на каменной кладке — небось бы тихо сидел.

...А Вдовушкин писал своё. Он вправду занимался работой «левой», но для Шухова непостижимой. Он переписывал новое длинное стихотворение, которое вчера отдал, а сегодня обещал показать Степану Григорьичу, тому самому врачу.

Как это делается только в лагерях, Степан Григорьич и посоветовал Вдовушкину объявиться фельдшером, поставил его на работу фельдшером, и стал Вдовушкин учиться делать внутривенные уколы на тёмных работагах да на смирных литовцах и эстонцах, кому и в голову никак бы не могло вступить, что фельдшер может быть вовсе не фельдшером. Был же Коля студент литературного факультета, арестованный со второго курса. Степан Григорьич хотел, чтоб он написал в тюрьме то, чего ему не дали на воле.

...Сквозь двойные, непрозрачные от белого льда стёкла еле слышно донёсся звонок развода. Шухов вздохнул и

встал. Знобило его, как и раньше, но косануть, видно, не проходило. Вдовушкин протянул руку за термометром, посмотрел.

— Видишь, ни то ни сё, тридцать семь и две. Было бы тридцать восемь, так каждому ясно. Я тебя освободить не могу. На свой страх, если хочешь, останься. После проверки посчитает доктор больным — освободит, а здоровым — отказчик, и в БУР. Сходи уж лучше за зону.

Шухов ничего не ответил и не кивнул даже, шапку нахлобучил и вышел.

Тёплый зяблого разве когда поймёт?

Мороз жал. Мороз едкой мглицей больно охватил Шухова, вынудил его закашляться. В морозе было двадцать семь, в Шукове тридцать семь. Теперь кто кого.

Трусой побежал Шухов в барак. Линейка напролёт была вся пуста, и лагерь весь стоял пуст. Была та минута короткая, разморчивая, когда уже всё оторвано, но прикидываются, что нет, что не будет развода. Конвой сидит в тёплых казармах, сонные головы прислоня к винтовкам, — тоже им не масло сливочное в такой мороз на вышках топтаться. Вахтёры на главной вахте подбрасывают в печку угля. Надзиратели в надзирательской докуривают последнюю сигарку перед обыском. А заключённые, уже одетые во всю свою рвань, перепоясанные всеми верёвочками, обмотавшись от подбородка до глаз тряпками от мороза, — лежат на нарах поверх одеял в валенках и, глаза закрыв, обмирают. Аж пока бригадир крикнет: «Па-дъём!»

Дремала со всем девятым бараком и 104-я бригада. Только помбригадир Павло, шевеля губами, что-то считал карандашиком да на верхних нарах баптист Алёшка, сосед Шухова, чистенький, приумытый, читал свою записную книжку, где у него была переписана половина евангелия.

Шухов вбежал хоть и стремглав, а тихо совсем, и — к помбригадировой вагонке.

Павло поднял голову.



— Нэ посадылы, Иван Денисыч? Живы́? — (Украинцев западных никак не переучат, они и в лагере по отечеству да выкают.)

И, со стола взявши, протянул пайку. А на пайке — сахару черпачок опрокинут холмиком белым.

Очень спешил Шухов и всё же ответил прилично (помбригадир — тоже начальство, от него даже больше зависит, чем от начальника лагеря). Уж как спешил, с хлеба сахар губами забрал, языком подлизнул, одной ногой на кронштейник — лезть наверх постель заправлять, — а пайку так и так посмотрел и рукой на лету взвесил: есть ли в ней те пятьсот пятьдесят грамм, что положены. Паек этих тысячу не одну переполучал Шухов в тюрьмах и в лагерях, и хоть ни одной из них на весах проверить не пришлось, и хоть шуметь и *качать права* он, как человек робкий, не смел, но всякому арестанту и Шухову давно понятно, что, честно вешая, в хлеборезке не удержишься. Недодача есть в каждой пайке — только какая, велика ли? Вот два раза на день и смотришь, душу успокоить — может, сегодня обманули меня не круто? Может, в моей-то граммы почти все?

Грамм двадцать не дотягивает, — решил Шухов и преломил пайку надвое. Одну половину за пазуху сунул, под телогрейку, а там у него карманчик белый специально пришит (на фабрике телогрейки для ээков шьют без карманов). Другую половину, сэкономленную за завтраком, думал и съесть тут же, да наспех еда не еда, пройдёт даром, без сытости. Потянулся сунуть полпайки в тумбочку, но опять раздумал: вспомнил, что дневальные уже два раза за воровство биты. Барак большой, как двор проезжий.

И потому, не выпуская хлеба из рук, Иван Денисович вытянул ноги из валенок, ловко оставив там и портянки и ложку, взлез босой наверх, расширил дырочку в матрасе и туда, в опилки, спрятал свои полпайки. Шапку с головы содрал, вытащил из неё иголочку с ниточкой (тоже запрятана глубоко, на *шмоне* шапки тоже щупают: одна́ надзиратель об иголку накололся, так чуть Шухову голову со злости не

разбил). Стежь, стежь, стежь — вот и дырочку за пайкой спрятанной прихватил. Тем временем сахар во рту дотаял. Всё в Шухове было напряжено до крайности — вот сейчас нарядчик в дверях заорёт. Пальцы Шухова славно шевелились, а голова, забегая вперёд, располагала, что дальше.

Баптист читал евангелие не вовсе про себя, а как бы в дыхание (может, для Шухова нарочно, они ведь, эти баптисты, любят агитировать, вроде политруков):

— «Только бы не пострадал кто из вас как убийца, или как вор, или злодей, или как посягающий на чужое. А если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь».

За что Алёшка молодец: эту книжечку свою так заса́вывает ловко в щель в стене — ни на едином шмоне ещё не нашли.

Теми же быстрыми движениями Шухов свесил на перекладину бушлат, повытаскивал из-под матраса рукавички, ещё пару худых портянок, верёвочку и тряпочку с двумя рубезками. Опилки в матрасе чудок разровнял (тяжёлые они, сбитые), одеяло вкруговую подоткнул, подушку кинул на место — босиком же слез вниз и стал обуваться, сперва в хорошие портянки, новые, потом в плохие, поверх.

И тут бригадир прогаркнулся, встал и объявил:

— Кон-чай ночевать, сто четвёртая! Вы-ходи!

И сразу вся бригада, дремала ли, не дремала, встала, зазевала и пошла к выходу. Бригадир девятнадцать лет сидит, он на развод минутой раньше не выгонит. Сказал — «вы-ходи!» — значит, край выходить.

И пока бригадники, тяжело ступая, без слова выходили один за другим сперва в коридор, потом в сени и на крыльцо, а бригадир 20-й, подражая Тюрину, тоже объявил: «Вы-ходи!» — Шухов доспел валенки обусть на две портянки, бушлат надеть сверх телогрейки и туго вспоясаться верёвочкой (ремни кожаные были у кого, так отобрали — нельзя в Особлаге ремень).

Так Шухов всё успел и в сенях нагнал последних своих бригадников — спины их с номерами выходили через дверь

на крылечко. Толстоватые, навернувшие на себя всё, что только было из одежды, бригадники наискосок, гуськом, не домогаясь друг друга нагнать, тяжело шли к линейке и только поскрипывали.

Всё ещё темно было, хотя небо с восхода зеленело и светлело. И тонкий, злой потягивал с восхода ветерок.

Вот этой минуты горше нет — на развод идти утром. В темноте, в мороз, с брюхом голодным, на день целый. Язык отнимается. Говорить друг с другом не захочешь.

У линейки метался младший нарядчик.

— Ну, Тюрин, сколько ждать? Опять тянешься?

Младшего-то нарядчика разве Шухов боится, только не Тюрин. Он ему и дых по морозу зря не погонит, топает себе молча. И бригада за ним по снегу: топ-топ, скрип-скрип.

А килограмм сала, должно, отнёс — потому что опять в свою колонну пришла 104-я, по соседним бригадам видать. На Соцгородок победней да поглупей кого погонят. Ой, лють там сегодня будет: двадцать семь с ветерком, ни укрыва, ни грева!

Бригадиру сала много надо: и в ППЧ нести, и своё брюхо утолакивать. Бригадир хоть сам посылки не получает — без сала не сидит. Кто из бригады получит — сейчас ему дар несёт.

А иначе не проживёшь.

Старший нарядчик отмечает по дощечке:

— У тебя, Тюрин, сегодня один болен, на выходе двадцать три?

— Двадцать три, — бригадир кивает.

Кого ж нет? Пантелеева нет. Да разве он болен?

И сразу шу-шу-шу по бригаде: Пантелеев, сука, опять в зоне остался. Ничего он не болен, *опер* его оставил. Опять будет стучать на кого-то.

Днём его вызовут без помех, хоть три часа держи, никто не видел, не слышал.

А проводят по санчасти...

Вся линейка чернела от бушлатов — и вдоль её медленно переталкивались бригады вперёд, к шмону. Вспомнил Шу-

хов, что хотел обновить номерок на телогрейке, протискался через линейку на тот бок. Там к художнику два-три зэка в очереди стояли. И Шухов стал. Номер нашему брату — один вред, по нему издали надзиратель тебя заметит, и конвой запишет, а не обновишь номера в пору — тебе же и кондей: зачем об номере не заботишься?

Художников в лагере трое, пишут для начальства картины бесплатные, а ещё в черёд ходят на развод номера писать. Сегодня старик с бородкой седенькой. Когда на шапке номер пишет кисточкой — ну точно как поп миром лбы мажет.

Помалюет, помалюет и в перчатку дышит. Перчатка вязаная, тонкая, рука окостеневает, чисел не выводит.

Художник обновил Шухову «Щ-854» на телогрейке, и Шухов, уже не запахивая бушлата, потому что до шмона оставалось недалеко, с верёвочкой в руке догнал бригаду. И сразу разглядел: однопригодник его Цезарь курил, и курил не трубку, а сигарету — значит, подстрельнуть можно. Но Шухов не стал прямо просить, а остановился совсем рядом с Цезарем и вполоборота глядел мимо него.

Он глядел мимо и как будто равнодушно, но видел, как после каждой затяжки (Цезарь затягивался редко, в задумчивости) ободок красного пепла передвигался по сигарете, убавляя её и подбираясь к мундштуку.

Тут же и Фетюков, шакал, подсосался, стал прямо против Цезаря и в рот ему засматривает, и глаза горят.

У Шухова ни табачинки не осталось, и не предвидел он сегодня прежде вечера раздобыть — он весь напрягся в ожидании, и желанней ему сейчас был этот хвостик сигареты, чем, кажется, воля сама, — но он бы себя не уронил и так, как Фетюков, в рот бы не смотрел.

В Цезаре всех наций намешано: не то он грек, не то еврей, не то цыган — не поймёшь. Молодой ещё. Картины снимал для кино. Но и первой не доснял, как его посадили. У него усы чёрные, слитые, густые. Потому не сбрили здесь, что на деле так снят, на карточке.

— Цезарь Маркович! — не выдержав, прослюнявил Фетюкова. — Да-айте разок потянуть!

И лицо его передёргивалось от жадности и желания.

...Цезарь приоткрыл веки, полуспущенные над чёрными глазами, и посмотрел на Фетюкова. Из-за того он и стал курить чаще трубку, чтоб не перебивали его, когда он курит, не просили дотянуть. Не табака ему было жалко, а прерванной мысли. Он курил, чтобы возбудить в себе сильную мысль и дать ей найти что-то. Но едва он поджигал сигарету, как сразу в нескольких глазах видел: «Оставь докурить!»

...Цезарь повернулся к Шухову и сказал:

— Возьми, Иван Денисыч!

И большим пальцем вывернул горящий недокурок из янтарного короткого мундштука.

Шухов встрепенулся (он и ждал так, что Цезарь сам ему предложит), одной рукой поспешно благодарно брал недокурок, а второю страховал снизу, чтоб не обронить. Он не обижался, что Цезарь брезговал дать ему докурить в мундштуке (у кого рот чистый, а у кого и гунявый), и пальцы его закалелые не обжигались, держась за самый огонь. Главное, он Фетюкова-шакала пересёк и вот теперь тянул дым, пока губы стали гореть от огня. М-м-м-м! Дым разошёлся по голлодному телу, и в ногах отдалось и в голове.

И только эта благодсть по телу разлилась, как услышал Иван Денисович гул:

— Рубахи нижние отбирают!..

Так и вся жизнь у эка. Шухов привык: только и высматривай, чтоб на горло тебе не кинулись.

Почему — рубахи? Рубахи ж сам начальник выдавал?.. Не, не так...

Уж до шмона оставалось две бригады впереди, и вся 104-я разглядела: подошёл от штабного барака начальник режима лейтенант Волковой и крикнул что-то надзирателям. И надзиратели, без Волкового шмонавшие кое-как, тут зарьялись, кинулись, как звери, а старшина их крикнул:

— Ра-ас-стегнуть рубахи!

Волкового не то что зэки и не то что надзиратели — сам начальник лагеря, говорят, боится. Вот Бог шельму метит, фамилицу дал! — иначе как волк Волковой не смотрит. Тёмный, да длинный, да насупленный — и носится быстро. Вынырнет из барака: «А тут что собрались?» Не ухоронишься. Поперву он ещё плётку таскал, как рука до локтя, кожаную, кручёную. В БУРе ею сек, говорят. Или на проверке вечерней столпятся зэки у барака, а он подкрадется сзади да хлесь плетью по шее: «Почему в строй не стал, падло?» Как волной от него толпу шархнет. Обожжённый за шею схватится, вытрет кровь, молчит: каб ещё БУРа не дал.

Теперь что-то не стал плётку носить.

В мороз на простом шмоне не по вечерам, так хоть утром порядок был мягкий: заключённый растёгивал бушлат и отводил его полы в стороны. Так шли по пять, и пять надзирателей навстречу стояло. Они обхлопывали зэка по бокам запоясанной телогрейки, хлопали по единственному положенному карману на правом колене, сами бывали в перчатках, и если что-нибудь непонятное нащупывали, то не вытягивали сразу, а спрашивали, лентясь: «Это — что?»

Утром что искать у зэка? Ножи? Так их не из лагеря носят, а в лагерь. Утром проверить надо, не несёт ли с собой еды килограмма три, чтобы с нею сбежать. Было время, так так этого хлеба боялись, кусочка двухсотграммового на обед, что был приказ издан: каждой бригаде сделать себе деревянный чемодан и в том чемодане носить весь хлеб бригадный, все кусочки от бригадников собирать. В чём тут они, враги, располагали выгадать — нельзя додуматься, а скорей чтобы людей мучить, забота лишняя: пайку эту свою надкуси, да заметь, да клади в чемодан, а они, куски, всё равно похожие, все из одного хлеба, и всю дорогу об том думай и мучайся, не подменят ли твой кусок, да друг с другом спорь, иногда и до драки. Только однажды сбежали из производственной зоны трое на автомашине и такой чемодан хлеба прихватили. Опомнились тогда начальники и все чемоданы на вахте порубали. Носи, мол, опять всяк себе.

Ещё проверить утром надо, не одет ли костюм гражданский под эковский? Так ведь вещи гражданские давно начисто у всех отменены и до конца срока не отдадут, сказали. А конца срока в этом лагере ни у кого ещё не было.

И проверить — письма не несёт ли, чтоб через вольного толкануть? Да только у каждого письмо искать — до обеда проканителиться.

Но крикнул что-то Волковой искать — и надзиратели быстро перчатки снимали, телогрейки велют распустить (где каждый тепло барачное спрятал), рубахи расстегнуть — и лезут перещупывать, не поддето ли чего в обход устава. Положено ээку две рубахи — нижняя да верхняя, остальное снять! — вот как передали ээки из ряда в ряд приказ Волкового. Какие раньше бригады прошли — ихее счастье, уж и за воротами некоторые, а эти — открывайся! У кого поддето — скидай тут же на морозе!

Так и начали, да неурядка у них вышла: в воротах уже прочистилось, конвой с вахты орёт: давай, давай! И Волковой на 104-й сменил гнев на милость: записывать, на ком что лишнее, вечером сами пусть в каптёрку сдадут и объяснительную напишут: как и почему скрыли.

На Шухове-то всё казённое, на, щупай — грудь да душа, а у Цезаря рубаху байковую записали, а у Буйновского, кесь, жилетик или напузник какой-то. Буйновский — в горло, на миноносцах своих привык, а в лагере трёх месяцев нет:

— Вы п р а в а не имеете людей на морозе раздевать! Вы девятую статью уголовного кодекса не знаете!..

Имеют. Знают. Это ты, брат, ещё не знаешь.

— Вы не советские люди! — долбаёт их капитан.

Статью из кодекса ещё терпел Волковой, а тут, как молния чёрная, передёрнулся:

— Десять суток строгого!

И потише старшине:

— К вечеру оформишь.

Они по утрам-то не любят в карцер брать: человеко-выход теряется. День пусть спину погнёт, а вечером его в БУР.

Тут же и БУР по левую руку от линейки: каменный, в два крыла. Второе крыло этой осенью достроили — в одном помещаться не стали. На восемнадцать камер тюрьма, да одиначки из камер нагорожены. Весь лагерь деревянный, одна тюрьма каменная.

Холод под рубаху зашёл, теперь не выгонишь. Что укутаны были эки — всё зря. И так это нудно тянет спину Шухову. В кочку больничную лечь бы сейчас — и спать. И ничего больше не хочется. Одеяло бы потяжельше.

Стоят эки перед воротами, застёгиваются, завязываются, а снаружи конвой:

— Давай! Давай!

И нарядчик в спины пихает:

— Давай! Давай!

Одни ворота. Предзонник. Вторые ворота. И перила с двух сторон около вахты.

— Стой! — шумит вахтёр. — Как баранов стадо. Разберись по пять!

Уже рассмеркивалось. Догорал костёр конвоя за вахтой. Они перед разводом всегда разжигают костёр — чтобы греться и чтоб считать виднее.

Один вахтёр громко, резко отсчитывал:

— Первая! Вторая! Третья!

И пятёрки отделялись и шли цепочками отдельными, так что хоть сзади, хоть спереди смотри: пять голов, пять спин, десять ног.

А второй вахтёр — контролёр, у других перил молча стоит, только проверяет, счёт правильный ли.

И ещё лейтенант стоит, смотрит.

Это от лагеря.

Человек — дороже золота. Одной головы за проволокой не достанет — свою голову туда добавишь.

И опять бригада слилась вся вместе.

И теперь сержант конвоя считает:

— Первая! Вторая! Третья!



И пятёрки опять отделяются и идут цепочками отдельными.

И помощник начальника караула с другой стороны проверяет.

И ещё лейтенант.

Это от конвоя.

Никак нельзя ошибиться. За лишнюю голову распишешься — своей головой заменишь.

А конвоиров понатыкано! Полукругом обняли колонну ТЭЦ, автоматы вскинули, прямо в морду тебе держат. И собаководы с собаками серыми. Одна собака зубы оскалила, как смеётся над зэками. Конвоиры все в полушубках, лишь шестеро в тулупах. Тулупы у них сменные: тот надевает, кому на вышку идти.

И ещё раз, смешав бригады, конвой пересчитал всю колонну ТЭЦ по пятёркам.

— На восходе самый большой мороз бывает! — объявил кавторанг. — Потому что это последняя точка ночного охлаждения.

Капитан любит вообще объяснять. Месяц какой — молодой ли, старый, — рассчитает тебе на любой год, на любой день.

На глазах доходит капитан, щёки ввалились, — а бодрый.

Мороз тут за зоной при потягивающем ветерке крепко покусывал даже ко всему притерпевшееся лицо Шухова. Смекнув, что так и будет по дороге на ТЭЦ дуть всё время в морду, Шухов решил надеть тряпочку. Тряпочка на случай встречного ветра у него, как и у многих других, была с двумя рубезочками длинными. Признали зэки, что тряпочка такая помогает. Шухов обхватил лицо по самые глаза, по низу ушей рубезочки провёл, на затылке завязал. Потом затылок отворотом шапки закрыл и поднял воротник бушлата. Ещё передний отворот шапчёнки спустил на лоб. И так у него спереди одни глаза остались. Бушлат по поясу он хорошо затянул бечёвочкой. Всё теперь ладно, только рукавицы худые и руки уже застылые. Он тёр и хлопал ими, зная, что

сейчас придётся взять их за спину и так держать всю дорогу.

Начальник караула прочёл ежедневную надоевшую арестантскую «молитву»:

— Внимание, заключённые! В ходу следования соблюдать строгий порядок колонны! Не растягиваться, не набегать, из пятёрки в пятёрку не переходить, не разговаривать, по сторонам не оглядываться, руки держать только назад! Шаг вправо, шаг влево — считается побег, конвой открывает огонь без предупреждения! Направляющий, шагом марш!

И, должно, пошли передних два конвоира по дороге. Колыхнулась колонна впереди, закачала плечами, и конвой, — справа и слева от колонны шагах в двадцати, а друг за другом через десять шагов, — пошёл, держа автоматы наготове.

Снегу не было уже с неделю, дорога проторена, убита. Обогнули лагерь — стал ветер наискось в лицо. Руки держа сзади, а головы опустив, пошла колонна, как на похороны. И видно тебе только ноги у передних двух-трёх да клочок земли утоптанной, куда своими ногами переступить. От времени до времени какой конвоир крикнет: «Ю-сорок восемь! Руки назад!», «Бэ-пятьсот два! Подтянуться!». Потом и они реже кричать стали: ветер сечёт, смотреть мешает. Им-то тряпочками завязываться не положено. Тоже служба неважная...

В колонне, когда потеплей, все разговаривают — кричи не кричи на них. А сегодня пригнулись все, каждый за спину переднего хоронится, и ушли в свои думки.

Дума арестантская — и та несвободная, всё к тому ж возвращается, всё снова ворошит: не нащупают ли пайку в матрасе? В санчасти освободят ли вечером? Посадят капитана или не посадят? И как Цезарь на руки раздобыл своё бельё тёплое? Наверно, подмазал в каптёрке личных вещей, откуда ж?

Из-за того, что без пайки завтракал и что холодное всё съел, чувствовал себя Шухов сегодня несатым. И чтобы

брюхо не занывало, есть не просило, перестал он думать о лагере, стал думать, как письмо будет скоро домой писать.

Колонна прошла мимо деревообделочного, построенного эсками, мимо жилого квартала (собирали бараки тоже эски, а живут вольные), мимо клуба нового (тоже эски всё, от фундамента до стенной росписи, а кино вольные смотрят), и вышла колонна в степь, прямо против ветра и против краснеющего восхода. Голый белый снег лежал до края, направо и налево, и деревья во всей степи не было ни одного.

Начался год новый, пятьдесят первый, и имел в нём Шухов право на два письма. Последнее отослал он в июле, а ответ на него получил в октябре. В Усть-Ижме — там иначе был порядок, пиши хоть каждый месяц. Да чего в письме напишешь? Не чаще Шухов и писал, чем ныне.

Из дому Шухов ушёл двадцать третьего июня сорок первого года. В воскресенье народ из Поломни пришёл от обедни и говорит: война. В Поломне узнала почта, а в Темгенёве ни у кого до войны радио не было. Сейчас-то, пишут, в каждой избе радио галдит, проводное.

Писать теперь — что в омут дремучий камешки кидать. Что упало, что кануло — тому отзыва нет. Не напишешь, в какой бригаде работаешь, какой бригадир у тебя Андрей Прокофьевич Тюрин. Сейчас с Кильдигсом, латышом, больше об чём говорить, чем с домашними.

Да и они два раза в год напишут — жизни их не поймёшь. Председатель колхоза де новый — так он каждый год новый, их больше года не держат. Колхоз укрупнили — так его и ране укрупняли, а потом мельчили опять. Ну, ещё кто нормы трудодней не выполняет — огороды поджали до пятнадцати соток, а кому и под самый дом обрезали. Ещё, писала когда-то баба, был закон за норму ту судить и кто не выполнит — в тюрьму сажать, но как-то тот закон не вступил.

Чему Шухову никак не внять, это, пишет жена, с войны с самой ни одна живая душа в колхоз не добавилась: парни все и девки все, кто как ухитрится, но уходит повально или в город на завод, или на торфоразработки. Мужиков с войны

половина вовсе не вернулась, а какие вернулись — колхоза не признают: живут дома, работают на стороне. Мужиков в колхозе: бригадир Захар Васильич да плотник Тихон восьмидесяти четырёх лет, женился недавно, и дети уже есть. Тянут же колхоз те бабы, каких ещё с тридцатого года загнали, а как они свалятся — и колхоз сдохнет.

Вот этого-то Шухову и не понять никак: живут дома, а работают на стороне. Видел Шухов жизнь одиночную, видел колхозную, но чтобы мужики в своей же деревне не работали — этого он не может принять. Вроде отхожий промысел, что ли? А с сенокосом же как?

Отхожие промыслы, жена ответила, бросили давно. Ни по-плотнички не ходят, чем сторона их была славна, ни корзины лозовые не вяжут, никому это теперь не нужно. А промысел есть-таки один новый, весёлый — это ковры красить. Привёз кто-то с войны трафаретки, и с тех пор пошло, пошло, и всё больше таких мастаков *красилёй* набирается: нигде не состоят, нигде не работают, месяц один помогают колхозу, как раз в сенокос да в уборку, а за то на одиннадцать месяцев колхоз ему справку даёт, что колхозник такой-то отпущен по своим делам и недоимок за ним нет. И ездят они по всей стране и даже в самолётах летают, потому что время своё берегут, а деньги гребут тысячами многими, и везде ковры малюют: пятьдесят рублей ковёр на любой простыне старой, какую дают, какую не жалко, — а рисовать тот ковёр будто бы час один, не боле. И очень жена надежду таит, что вернётся Иван и тоже в колхоз ни ногой, и тоже таким красилём станет. И они тогда подымутся из нищеты, в какой она бьётся, детей в техникум отдадут, и вместо старой избы гнилой новую поставят. Все красили себе дома новые ставят, близ железной дороги стали дома теперь не пять тысяч, как раньше, а двадцать пять.

Хоть сидеть Шухову ещё немало, зиму-лето да зиму-лето, а всё ж разбередили его эти ковры. Как раз для него работа, если будет лишение прав или ссылка. Просил он тогда жену описать — как же он будет красилём, если отроду рисовать

не умел? И что это за ковры такие дивные, что́ на них? Отвечала жена, что рисовать их только дурак не сможет: наложи трафаретку и мажь кистью сквозь дырочки. А ковры есть трёх сортов: один ковёр «Тройка» — в упряжи красивой тройка везёт офицера гусарского, второй ковёр — «Олень», а третий — под персидский. И никаких больше рисунков нет, но и за эти по всей стране люди спасибо говорят и из рук хватают. Потому что настоящий ковёр не пятьдесят рублей, а тысячи стоит.

Хоть бы глазом одним посмотреть Шухову на те ковры...

По лагерям да по тюрьмам отвык Иван Денисович раскладывать, что́ завтра, что́ через год да чем семью кормить. Обо всём за него начальство думает — оно будто и легче. А как на волю вступишь?..

Из рассказов вольных шоферов и экскаваторщиков видит Шухов, что прямую дорогу людям загородили, но люди не теряются: в обход идут и тем живы.

В обход бы и Шухов пробрался. Заработок, видать, лёгкий, огневой. И от своих деревенских отставать вроде обидно... Но, по душе, не хотел бы Иван Денисович за те ковры браться. Для них развязность нужна, нахальство, милиции на лапу совать. Шухов же сорок лет землю топчет, уж зубов нет половины и на голове плешь, никому никогда не давал и не брал ни с кого, и в лагере не научился.

Лёгкие деньги — они и не весят ничего, и чутья такого нет, что вот, мол, ты заработал. Правильно старики говорили: за что не доплатишь, того не доносишь. Руки у Шухова ещё добрые, смогают, неуж он себе на воле верной работы не найдёт?

Да ещё пустят ли когда на ту волю? Не навесят ли ещё *десятки* ни за так?..

Колонна тем временем дошла и остановилась перед вахтой широко раскинутой зоны *объекта*. Ещё раньше, с угла зоны, два конвоира в тулупах отделились и побрели по полю к своим дальним вышкам. Пока всех вышек конвой не займёт, внутрь не пустят. Начкар с автоматом за плечом пошёл

на вахту. А из вахты, из трубы, дым не переставая клубится: вольный вахтёр всю ночь там сидит, чтоб доски не вывезли или цемент.

Напересек через ворота проволочные, и через всю строительную зону, и через дальнюю проволоку, что по тот бок, — солнце встаёт большое, красное, как бы во мгле. Рядом с Шуховым Алёшка смотрит на солнце и радуется, улыбка на губы сошла. Щёки вваленные, на пайке сидит, нигде не подрабатывает — чему рад? По воскресеньям всё с другими баптистами шепчется. С них лагеря как с гуся вода. По двадцать пять лет вкатили им за баптистскую веру — неуж думают тем от веры отвадить?

Намордник дорожный, тряпочка, за дорогу вся отмокла от дыхания и кой-где морозом прихватила, коркой стала ледяной. Шухов её ссунул с лица на шею и стал к ветру спиной. Нигде его особо не продрало, а только руки озябли в худых рукавичках да онемели пальцы на левой ноге: валенок-то левый горетый, второй раз подшитый.

Поясницу и спину всю до плечей тянет, ломает — как работать?

Оглянулся — и на бригадира лицом попал, тот в задней пятёрке шёл. Бригадир в плечах здоров, да и образ у него широкий. Хмур стоит. Смехуёчками он бригаду свою не жалует, а кормит — ничего, о большой пайке заботлив. Сидит он второй срок, сын Гулага, лагерный обычай знает напрожог.

Бригадир в лагере — это всё: хороший бригадир тебе жизнь вторую даст, плохой бригадир в деревянный бушлат загонит. Андрея Прокофьевича знал Шухов ещё по Усть-Ижме, только там у него в бригаде не был. А когда с Усть-Ижмы, из общего лагеря, перегнали пятьдесят восьмую статью сюда, в каторжный, — тут его Тюрин подобрал. С начальником лагеря, с ППЧ, с прорабами, с инженерами Шухов дела не имеет: везде его бригадир застоит, грудь стальная у бригадира. Зато шевельнёт бровью или пальцем покажет — беги, делай. Кого хошь в лагере обманывай, только Андрей Прокофьича не обманывай. И будешь жив.

И хочется Шухову спросить бригадира, там же ли работать, где вчера, на другое ли место переходить, — а боязно перебивать его высокую думу. Только что Соцгородок с плеч спихнул, теперь, бывает, процентовку обдумывает, от неё пять следующих дней питания зависят.

Лицо у бригадира в рябинах крупных, от оспы. Стоит против ветра — не поморщится, кожа на лице — как кора дубовая.

Хлопают руками, перетаптываются в колонне. Злой ветерок! Уж, кажется, на всех шести вышках попки сидят — опять в зону не пускают. Бдительность травят.

Ну! Вышли начкар с контролёром из вахты, по обоим сторонам ворот стали, и ворота развели.

— Р-раз-берись по пятёркам! Пер-рвая! Втор-ра-я!

Зашагали арестанты как на парад, шагом чуть не строевым. Только в зону прорваться, а там не учи, что делать.

За вахтой вскоре — будка конторы, около конторы стоит прораб, бригадиров заворачивает, да они и сами к нему. И Дэр туда, десятник из зэков, сволочь хорошая, своего брата-зэка хуже собак гоняет.

Восемь часов, пять минут девятого (только что энергопоезд прогудел), начальство боится, как бы зэки время не потеряли, по обогревалкам бы не рассыпались, — а у зэков день большой, на всё время хватит. Кто в зону зайдёт, наклоняется: там щепочка, здесь щепочка, нашей печке огонь. И в норы заюркивают.

Тюрин велел Павлú, помощнику, идти с ним в контору. Туда же и Цезарь свернул. Цезарь богатый, два раза в месяц посылки, всем сунул, кому надо, — и *придурком* работает в конторе, помощником нормировщика.

А остальная 104-я сразу в сторону, и дёру, дёру.

Солнце взошло красное, мглистое над зоной пустой: где щиты сборных домов снегом занесены, где кладка каменная начатая да у фундамента и брошенная, там экскаватора рукоять переломленная лежит, там ковш, там хлам железный, канав понарыто, траншей, ям наворочено, авторемонтные

мастерские под перекрытие выведены, а на бугре — ТЭЦ в начале второго этажа.

И — попрытались все. Только шесть часовых стоят на вышках, да около конторы суета. Вот этот-то наш миг и есть! Старший прораб сколько, говорят, грозился разнарядку всем бригадам давать с вечера — а никак не наладят. Потому что с вечера до утра у них всё наоборот поворачивается.

А миг — наш! Пока начальство разберётся — приткнись, где потеплей, сядь, сиди, ещё наломаешь спину. Хорошо, если около печки, — портянки переобернуть да согреть их малость. Тогда во весь день ноги будут тёплые. А и без печки — всё одно хорошо.

Сто четвёртая бригада вошла в большой зал в авторемонтных, где остеклено с осени и 38-я бригада бетонные плиты льёт. Одни плиты в формах лежат, другие стоймя наставлены, там арматура сетками. До верху высоко, и пол земляной, тепло тут не будет тепло, а всё ж этот зал обтапливают, угля не жалеют: не для того, чтоб людям греться, а чтобы плиты лучше схватывались. Даже градусник висит, и в воскресенье, если лагерь почему на работу не выйдет, вольный тоже топит.

Тридцать восьмая, конечно, чужих никого к печи не допускает, сама обседа, портянки сушит. Ладно, мы и тут, в уголку, ничего.

Задом ватных брюк, везде уже пересидевших, Шухов пристроился на край деревянной формы, а спиной в стенку упёрся. И когда он отклонился — натянулись его бушлат и телогрейка, и левой стороной груди, у сердца, он ощутил, как подавливает твёрдое что-то. Это твёрдое было — из внутреннего карманчика угол хлебной краюшки, той половины утренней пайки, которую он взял себе на обед. Всегда он столько с собой и брал на работу и не посягал до обеда. Но он другую половину съедал за завтраком, а нонче не съел. И понял Шухов, что ничего он не сэкономил: засосало его сейчас ту пайку съесть в тепле. До обеда — пять часов, протяжно.



А что в спине поламывало — теперь в ноги перешло, ноги такие слабые стали. Эх, к печечке бы!..

Шухов положил на колени рукавицы, расстегнулся, намордник свой дорожный, оледеневший развязал с шеи, сломил несколько раз и в карман спрятал. Тогда достал хлебушек в белой тряпице и, держа её в запазушке, чтобы ни крошка мимо той тряпицы не упала, стал помалу-помалу откусывать и жевать. Хлеб он пронёс под двумя одежками, грел его собственным теплом — и оттого он не мёрзлый был ничуть.

В лагерях Шухов не раз вспоминал, как в деревне раньше ели: картошку — целыми сковородами, кашу — чугунками, а ещё раньше, по-без-колхозов, мясо — ломтями здоровыми. Да молоко дули — пусть брюхо лопнет. А не надо было так, понял Шухов в лагерях. Есть надо — чтоб думка была на одной еде, вот как сейчас эти кусочки малые откусываешь, и языком их мнёшь, и щеками подсасываешь — и такой тебе духовитый этот хлеб чёрный сырой. Чтó Шухов ест восемь лет, девятый? Ничего. А ворочает? Хо-го!

Так Шухов занят был своими двумястами граммами, а близ него в той же стороне приютилась и вся 104-я.

Два эстонца, как два брата родных, сидели на низкой бетонной плите и вместе, по очереди, курили половинку сигареты из одного мундштука. Эстонцы эти были оба белые, оба длинные, оба худощавые, оба с долгими носами, с большими глазами. Они так друг за друга держались, как будто одному без другого воздуха синего не хватало. Бригадир никогда их и не разлучал. И ели они всё пополам, и спали на вагонке сверху на одной. И когда стояли в колонне, или на разводе ждали, или на ночь ложились — всё промеж себя толковали, всегда негромко и неторопливо. А были они вовсе не братья и познакомились уж тут, в 104-й. Один, объясняли, был рыбак с побережья, другого же, когда Советы устались, ребёнком малым родители в Швецию увезли. А он вырос и самодумкой назад, дурандай, на родину, институт кончать. Тут его и взяли сразу.

Вот, говорят, нация ничего не означает, во всякой, мол, нации худые люди есть. А эстонцев сколь Шухов ни видал — плохих людей ему не попадалось.

И все сидели — кто на плитах, кто на опалубке для плит, кто на земле прямо. Говорить-то с утра язык не ворочается, каждый в мысли свои упёрся, молчит. Фетюков-шакал на-собирал где-то окурков (он их и из плевательницы вывернет, не погребует), теперь на коленях их разворачивал и не-перегоревший табачок ссыпал в одну бумажку. У Фетюкова на воле детей трое, но как сел — от него все отказались, а жена замуж вышла: так помощи ему ниоткуда.

Буйновский косился-косился на Фетюкова да и гавкнул:

— Ну, что сразу всякую собираешь? Губы тебе сифилисом обмечет! Брось!

Кавторанг — он командовать привык, он со всеми людьми так разговаривает, как командует.

Но Фетюков от Буйновского ни в чём не зависит — кавторангу посылки тоже не идут. И, недобро усмехнувшись ртом полупустым, сказал:

— Подожди, кавторанг, восемь лет посидишь — ещё и ты собирать будешь.

Это верно, и гордей кавторанга люди в лагерь приходили...

— Чего-чего? — недослышал глуховатый Сенька Клевшин. Он думал — про то разговор идёт, как Буйновский сегодня на разводе погорел. — Залупаться не надо было! — сокрушённо покачал он головой. — Обошлось бы всё.

Сенька Клевшин — он тихий, бедолага. Ухо у него лопнуло одно, ещё в сорок первом. Потом в плен попал, бежал три раза, излавливали, сунули в Бухенвальд. В Бухенвальде чудом смерть обминул, теперь отбывает срок тихо. Будешь залупаться, говорит, пропадёшь.

Это верно, кряхти да гнись. А упрёшься — переломишься.

Алексей лицо в ладони окунул, молчит. Молитвы читает.

Доел Шухов пайку свою до самых рук, однако голой корочки кусок — полукруглой верхней корочки — оставил. По-

тому что никакой ложкой так дочиста каши не выешь из миски, как хлебом. Корочку эту он обратно в тряпицу белую завернул на обед, тряпицу сунул в карман внутренний под телогрейкой, застегнулся для мороза и стал готов, пусть теперь на работу шлют. А лучше б и ещё помедлили.

Тридцать восьмая бригада встала, разошлась: кто к растворемшалке, кто за водой, кто к арматуре.

Но ни Тюрин не шёл к своей бригаде, ни помощник его Павло. И хоть сидела 104-я вряд ли минут двадцать, а день рабочий — зимний, укороченный — был у них до шести, уж всем казалось большое счастье, уж будто и до вечера теперь недалеко.

— Эх, буранов давно нет! — вздохнул краснолицый упитанный латыш Кильдигс. — За всю зиму — ни бурана! Что за зима?!

— Да... буранов... буранов... — перевздохнула бригада.

Когда задует в местности здешней буран, так не то что на работу не ведут, а из барака вывести боятся: от барака до столовой если верёвку не протянешь, то и заблудишься. Замерзнет арестант в снегу — так пёс его ешь. А ну-ка убежит? Случаи были. Снег при буране мелочкий-мелочкий, а в сугроб ложится, как прессует его кто. По такому сугробу, через проволоку перемётанному, и уходили.

Недалеко, правда.

От бурана, если рассудить, пользы никакой: сидят зэки под замком; уголь не вовремя, тепло из барака выдувает; муки в лагерь не подвезут — хлеба нет; там, смотришь, и на кухне не справились. И сколько бы буран тот ни дул — три ли дня, неделю ли, — эти дни засчитывают за выходные и столько воскресений подряд на работу выгонят.

А всё равно любят зэки буран и молят его. Чуть ветер покрепче завернёт — все на небо запрокидываются: матерьяльчику бы! матерьяльчику!

Снежку, значит.

Потому что от позёмки никогда бурана стоящего не разыграется.

Уж кто-то полез греться к печи 38-й бригады, его оттуда шуранули.

Тут в зал вошёл и Тюрин. Мрачен был он. Поняли бригадники: что-то делать надо, и быстро.

— Та-ак, — огляделся Тюрин. — Все здесь, сто четвёртая?

И, не проверяя и не пересчитывая, потому что никто у Тюрина никуда уйти не мог, он быстро стал разнаряжать. Эстонцев двоих да Клевшина с Гопчиком послал большой растворный ящик неподалеку взять и нести на ТЭЦ. Уж из того стало ясно, что переходит бригада на недостроенную и поздней осенью брошенную ТЭЦ. Ещё двоих послал он в инструменталку, где Павло получал инструмент. Четверых нарядил снег чистить около ТЭЦ, и у входа там в машинный зал, и в самом машинном зале, и на трапах. Ещё двоим велел в зале том печь топить — углем и досок спереть, поколоть. И одному цемент на санках туда везти. И двоим воду носить, а двоим песок, и ещё одному из-под снега песок тот очищать и ломом разбивать.

И после всего того остались ненаряженными Шухов да Кильдигс — первые в бригаде мастера. И, отозвав их, бригадир им сказал:

— Вот что, ребята! — (А был не старше их, но привычка такая у него была — «ребята».) — С обеда будете шлакоблоками на втором этаже стены класть, там, где осенью шестая бригада покинула. А сейчас надо утеплить машинный зал. Там три окна больших, их в первую очередь чем-нибудь забить. Я вам ещё людей на помощь дам, только думайте, чем забить. Машинный зал будет нам и растворная и обогревалка. Не нагреем — помёрзнем как собаки, поняли?

И может быть, ещё б чего сказал, да прибежал за ним Гопчик, хлопец лет шестнадцати, розовенький, как поросёнок, с жалобой, что растворного ящика им другая бригада не даёт, дерутся. И Тюрин умахнул туда.

Как ни тяжело было начинать рабочий день в такой мороз, но только начало это и важно было переступить, только его.

Шухов и Кильдигс посмотрели друг на друга. Они не раз уж работали вдвоём и уважали друг в друге и плотника и каменщика. Издобыть на снегу голом, чем окна те зашить, не было легко. Но Кильдигс сказал:

— Ваня! Там, где дома сборные, знаю я такое местечко — лежит здоровый рулон толя. Я ж его сам и прикрыл. Махнём?

Кильдигс хотя и латыш, но русский знает как родной, — у них рядом деревня была старообрядческая, сыздетства и научился. А в лагерях Кильдигс только два года, но уже всё понимает: не выкусишь — не выпросишь. Зовут Кильдигса Ян, Шухов тоже зовёт его Ваня.

Решили идти за толем. Только Шухов прежде сбегал тут же в строящемся корпусе авторемонтных взять свой мастерок. Мастерок — большое дело для каменщика, если он по руке и лёгок. Однако на каждом объекте такой порядок: весь инструмент утром получили, вечером сдали. И какой завтра инструмент захватишь — это от удачи. Но Шухов однажды обсчитал инструментальщика и лучший мастерок зажил. И теперь каждый вечер он его перепрятывает, а утро каждое, если кладка будет, берёт. Конечно, погнали б сегодня 104-ю на Соцгородок — и опять Шухов без мастерка. А сейчас камешек отвалил, в щёлку пальцы засунул — вот он, вытянул.

Шухов и Кильдигс вышли из авторемонтных и пошли в сторону сборных домов. Густой пар шёл от их дыхания. Солнце уже поднялось, но было без лучей, как в тумане, а по бокам солнца вставали — не столбы ли? — кивнул Шухов Кильдигсу.

— А нам столбы не мешают, — отмахнулся Кильдигс и засмеялся. — Лишь бы от столба до столба колючку не натянули, ты вот что смотри.

Кильдигс без шутки слова не знает. За то его вся бригада любит. А уж латыши со всего лагеря его почитают как! Ну, правда, питается Кильдигс нормально, две посылки каждый месяц, румяный, как и не в лагере он вовсе. Будешь шутить.

Ихнего объекта зона здоровá — пока-а пройдёшь черезо всю! Попались по дороге из 82-й бригады ребятишки — опять их ямки долбать заставили. Ямки нужны невелики: пятьдесят на пятьдесят и глубины пятьдесят, да земля та и летом как камень, а сейчас морозом схваченная, поиди её угрызи. Долбают её киркой — скользит кирка, и только искры сыплются, а земля — ни крошки. Стоят ребята каждый над своей ямкой, оглянутся — греться им негде, отойти не велят, — давай опять за кирку. От неё всё тепло.

Увидел среди них Шухов знакомого одного, вятича, и посоветовал:

— Вы бы, слышь, землерубы, над каждой ямкой тёплянку развели. Она б и оттаяла, земля-та.

— Не велят, — вздохнул вятич. — Дров не дают.

— Найти надо.

А Кильдигс только плюнул.

— Ну скажи, Ваня, если б начальство умное было — разве поставило бы людей в такой мороз кирками землю долбать?

Ещё Кильдигс выругался несколько раз неразборчиво и смолк, на морозе не разговоришься. Шли они дальше и дальше и подошли к тому месту, где под снегом были погребены щиты сборных домов.

С Кильдигсом Шухов любит работать, у него одно только плохо — не курит, и табаку в его посылках не бывает.

И правда, приметчив Кильдигс: приподняли вдвоём доску, другую — а под них толя рулон закатан.

Вынули. Теперь — как нести? С вышки заметят — это ничто: у попок только та забота, чтоб зэки не разбежались, а внутри рабочей зоны хоть все щиты на щепки поруби. И надзиратель лагерный если навстречу попадётся — тоже ничто: он сам приглядывается, что б ему в хозяйство пошло. И работагам всем на эти сборные дома наплевать. И бригадирам тоже. Печётся об них только прораб вольный, да десятник из зэков, да Шкуропатенко долгоязыый. Никто он, Шкуропатенко, просто зэк, но душа вертухайская. Выписывают ему наряд-повременику за то одно, что он сборные дома от

зков караулит, не даёт растаскивать. Вот этот-то Шкуропатенко их скорей всего на открытом прозоре и подловит.

— Вот что, Ваня, плашмя нести нельзя, — придумал Шухов, — давай его стоймя в обнимку возьмём и пойдём так легонько, собой прикрывая. Издаля не разберёт.

Ладно придумал Шухов. Взять рулон неудобно, так не взяли, а стиснули между собой, как человека третьего, — и пошли. И со стороны только и увидишь, что два человека идут плотно.

— А потом на окнах прораб увидит этот толь, всё одно догадается, — высказал Шухов.

— А мы при чём? — удивился Кильдигс. — Пришли на ТЭЦ, а уж там, мол, *было так*. Неужто срывать?

И то верно.

Ну, пальцы в худых рукавицах окостенели, прямо совсем не слышно. А валенок левый держит. Валенки — это главное. Руки в работе разойдутся.

Прошли целиною снежной — вышли на санный полоз от инструменталки к ТЭЦ. Должно быть, цемент вперёд провезли.

ТЭЦ стоит на бугре, а за ней зона кончается. Давно уж на ТЭЦ никто не бывал, все подступы к ней снегом ровным опеленаты. Тем ясней полоз санный и тропка свежая, глубокие следы — наши прошли. И чистят уже лопатами деревянными около ТЭЦ и дорогу для машины.

Хорошо бы подъёмничек на ТЭЦ работал. Да там мотор перегорел, и с тех пор, кажись, не чинили. Это опять, значит, на второй этаж всё на себе. Раствор. И шлакоблоки.

Стояла ТЭЦ два месяца как скелет серый, в снегу, покинутая. А вот пришла 104-я. И в чём её души держатся? — брюхи пустые поясами брезентовыми затянуты; морозяка трещит; ни обогревалки, ни огня искорки. А всё ж пришла 104-я — и опять жизнь начинается.

У самого входа в машинный зал развалился ящик растворный. Он дряхлый был, ящик, Шухов и не чаял, что его донесут целым. Бригадир поматюгался для порядка, но ви-

дит — никто не виноват. А тут катят Кильдигс с Шуховым, толь меж собой несут. Обрадовался бригадир и сейчас перестановку затеял: Шухову — трубу к печке ладить, чтоб скорей растопить, Кильдигсу — ящик чинить, а эстонцы ему два на помощь, а Сеньке Клевшину — на топор, и планок долгих наколоть, чтоб на них толь набивать: толь-то уже окна в два раза. Откуда планок брать? Чтобы обогревалку сделать, на это прораб досок не выпишет. Оглянулся бригадир, и все оглянулись, один выход: отбить пару досок, что как перила к трапам на второй этаж пристроены. Ходить — не зевать, так не свалишься. А что ж делать?

Кажется, чего бы ээку десять лет в лагере горбить? Не хочу, мол, да и только. Волочи день до вечера, а ночь наша.

Да не выйдет. На то придумана — бригада. Да не такая бригада, как на воле, где Иван Иванычу отдельно зарплата и Петру Петровичу отдельно зарплата. В лагере бригада — это такое устройство, чтоб не начальство ээков понукало, а ээки друг друга. Тут так: или всем *дополнительное*, или все подышайте. Ты не работаешь, гад, а я из-за тебя голодным сидеть буду? Нет, вкалывай, падло!

А ещё подождёт такой момент, как сейчас, тем боле не рассидишься. Волен не волен, а скачи да прыгай, поворачивайся. Если через два часа обогревалки себе не сделаем — пропадём тут все на хрен.

Инструмент Павло принёс уже, только разбирай. И труб несколько. По жестяному делу инструмента, правда, нет, но есть молоточек слесарный да топорик. Как-нибудь.

Похлопает Шухов рукавицами друг об друга, и составляет трубы, и оббивает в стыках. Опять похлопает и опять оббивает. (А мастерок тут же и спрятал недалеко. Хоть в бригаде люди свои, а подменить могут. Тот же и Кильдигс.)

И — как вымело все мысли из головы. Ни о чём Шухов сейчас не вспоминал и не заботился, а только думал — как ему колена трубные составить и вывести, чтоб не дымило. Гопчика послал проволоку искать — подвесить трубу у окна на выходе.



А в углу ещё приземистая печь есть с кирпичным выводом. У неё плита железная поверху, она калится, и на ней песок отмерзает и сохнет. Так ту печь уже растопили, и на неё кавторанг с Фетюковым носилками песок носят. Чтоб носилки носить — ума не надо. Вот и ставит бригадир на ту работу бывших начальников. Фетюков, кесь, в какой-то конторе большим начальником был. На машине ездил.

Фетюков по первым дням на кавторанга даже хвост поднял, покрикивал. Но кавторанг ему двинул в зубы раз, на том и поладили.

Уж к печи с песком сунулись ребята греться, но бригадир предупредил:

— Эх, сейчас кого-то в лоб огрею! Оборудуйте сперва!

Битой собаке только плеть покажи. И мороз лют, но бригадир лютей. Разошлись ребята опять по работам.

А бригадир, слышит Шухов, тихо Павлú:

— Ты оставайся тут, держи крепко. Мне сейчас процентовку закрывать идти.

От процентовки больше зависит, чем от самой работы. Который бригадир умный — тот не так на работу, как на процентовку налегает. С ей кормимся. Чего не сделано — докажи, что сделано; за что дешёво платят — оберни так, чтоб дороже. На это большой ум у бригадира нужен. И блат с нормировщиками. Нормировщикам тоже *нести* надо.

А разобраться — для кого эти все проценты? Для лагеря. Лагерь через то со строительства тысячи лишние выгребают да своим лейтенантам премии выписывают. Тому ж Волковому за его плётку. А тебе — хлеба двести грамм лишних в вечер. Двести грамм жизнью правят. На двести граммах Беломорканал построен.

Принесли воды два ведра, а она по дороге льдом схватилась. Рассудил Павло — нечего её и носить. Скорее тут из снега натопим. Поставили вёдра на печку.

Припёр Гопчик проволоки алюминиевой новой — той, что провода электрики тянут. Докладывает:

— Иван Денисыч! На ложки хорошая проволока. Меня научите ложку отлить?

Этого Гопчика, плута, любит Иван Денисыч (собственный его сын помер маленьким, дома дочки две взрослых). Посадили Гопчика за то, что бендеровцам в лес молоко носил. Срок дали как взрослому. Он — телёнок ласковый, ко всем мужикам ластится. А уж и хитрость у него: посылки свои в одиночку ест, иногда по ночам жуёт.

Да ведь всех и не накормишь.

Отломили проволоки на ложки, спрятали в углу. Состроил Шухов две доски, вроде стремянки, послал по ней Гопчика подвесить трубу. Гопчик, как белка, лёгкий — по перекладинам взобрался, прибил гвоздь, проволоку накинул и под трубу подпустил. Не поленился Шухов, самый-то выпуск трубы ещё с одним коленом вверх сделал. Сегодня нет ветру, а завтра будет — так чтоб дыму не задувало. Надо понимать, печка эта — для себя.

А Сенька Клевшин уже планок долгих наколол. Гопчика-хлопчика и прибивать заставили. Лазит, чертёныш, кричит сверху.

Солнце выше подтянулось, мглицу разогнало, и столбов не стало — и алым заиграло внутри. Тут и печку затопили дровами ворованными. Куда радостней!

— В январе солнышко коровке бок согрело! — объявил Шухов.

Кильдигс ящик растворный сбивать кончил, ещё топориком пристукнул, закричал:

— Слышь, Павло, за эту работу с бригадира сто рублей, меньше не возьму!

Смеётся Павло:

— Сто грамм получишь.

— Прокурор добавит! — кричит Гопчик сверху.

— Не трогъте, не трогъте! — Шухов закричал. (Не так толь резать стали.)

Показал — как.

К печке жестяной народу налезло, разогнал их Павло. Кильдигсу помощь дал и велел растворные корытца делать — наверх раствор носить. На подноску песка ещё пару людей добавил. Наверх послал — чистить от снега подмости и саму кладку. И ещё внутри одного — песок разогретый с плиты в ящик растворный кидать.

А снаружи мотор зафырчал — шлакоблоки возить стали, машина пробивается. Выбежал Павло руками махать — показывать, куда шлакоблоки скидывать.

Одну полосу толя нашили, вторую. От толя — какое укры-вище? Бумага — она бумага и есть. А всё ж вроде стенка сплошная стала. И — темней внутри. Оттого печь ярче.

Алёшка угля принёс. Одни кричат ему: сыпь! Другие: не сыпь! хоть при дровах погреемся! Стал, не знает, кого слушать.

Фетюков к печке пристроился и суёт же, дурак, валенки к самому огню. Кавторанг его за шиворот поднял и к носилкам пихает:

— Иди песок носить, фитиль!

Кавторанг — он и на лагерную работу как на морскую службу смотрит: сказано делать — значит, делай! Осунулся крепко кавторанг за последний месяц, а упряжку тянет.

Долго ли, коротко ли — вот все три окна толем зашили. Только от дверей теперь и свету. И холоду от них же. Велел Павло верхнюю часть дверей забить, а нижнюю покинуть — так, чтоб, голову нагнувши, человек войти мог. Забили.

Тем временем шлакоблоков три самосвала привезли и сбросили. Задача теперь — поднимать их как без подъёмника?

— Каменщики! Ходимтэ, подываемсь! — пригласил Павло.

Это — дело почётное. Поднялись Шухов и Кильдигс с Павлом наверх. Трап и без того узок был, да ещё теперь Сенька перила сбил — жмись к стене, каб вниз не опрокинуться. Ещё то плохо — к перекладинам трапа снег примёрз, округлил их, ноге упору нет — как раствор носить будет?

Поглядели, где стены класть, уж с них лопатами снег снимают. Вот тут. Надо будет со старой кладки топориком лёд сколоть да веничком промести.

Прикинули, откуда шлакоблоки подавать. Вниз заглянули. Так и решили: чем по трапу таскать, четверых снизу поставить кидать шлакоблоки вон на те подмости, а тут ещё двоих, перекидывать, а по второму этажу ещё двоих, подносить, — и всё ж быстрее будет.

Наверху ветерок не сильный, но тянет. Продует, как класть будем. А за начатую кладку зайдёшь, укроешься — ничего, теплей namного.

Шухов поднял голову на небо и ахнул: небо чистое, а солнышко почти к обеду поднялось. Диво дивное: вот время за работой идёт! Сколь раз Шухов замечал: дни в лагере катятся — не оглянешься. А срок сам — ничуть не идёт, не убавляется его вовсе.

Спустились вниз, а там уж все к печке уселись, только кавторанг с Фетюковым песок носят. Разгневался Павло, восемь человек сразу выгнал на шлакоблоки, двум велел цементу в ящик насыпать и с песком насухую размешивать, того — за водой, того — за углем. А Кильдигс — своей команде:

— Ну, мальцы, надо носилки кончать.

— Бывает, и я им помогу? — Шухов сам у Павла́ работу просит.

— Поможить. — Павло кивает.

Тут бак принесли, снег растапливать для раствора. Слышали от кого-то, будто двенадцать часов уже.

— Не иначе как двенадцать, — объявил и Шухов. — Солнышко на перевале уже.

— Если на перевале, — отозвался кавторанг, — так, значит, не двенадцать, а час.

— Это почему ж? — поразился Шухов. — Всем дедам известно: всего выше солнце в обед стоит.

— То — дедам! — отрубил кавторанг. — А с тех пор декрет был, и солнце выше всего в час стоит.

— Чей же эт декрет?

— Советской власти!

Вышел кавторанг с носилками, да Шухов бы и спорить не стал. Неуж и солнце ихим декретам подчиняется?

Побили ещё, постучали, четыре корытца сколотили.

— Ладно, посыдымо, погриемось, — двоим каменщикам сказал Павло. — И вы, Сенька, писля обида тоже будэтэ ложить. Сидайтэ!

И — сели к печке законно. Всё равно до обеда уж кладки не начинать, а раствор разводить некстати, замёрзнет.

Уголь накалился помалу, теперь устойчивый жар даёт. Только около печи его и чуешь, а по всему залу — холод, как был.

Рукавицы сняли, руками близ печки водят все четверо.

А ноги близко к огню никогда в обуви не ставь, это понимать надо. Если ботинки, так в них кожа растрескается, а если валенки — отсыреют, парок пойдёт, ничуть тебе теплей не станет. А ещё ближе к огню сунешь — сожжёшь. Так с дырой до весны и протопашь, других не жди.

— Да Шухову что? — Кильдигс подначивает. — Шухов, братцы, одной ногой почти дома.

— Вон той, босой, — подкинул кто-то. Рассмеялись. (Шухов левый горетый валенок снял и портянку согревает.)

— Шухов срок кончает.

Самому-то Кильдигсу двадцать пять дали. Это полоса была раньше такая счастливая: всем под гребёнку десять давали. А с сорок девятого такая полоса пошла — всем по двадцать пять, невзирая. Десять-то ещё можно прожить не около, — а ну двадцать пять проживи?!

Шухову и приятно, что так на него все пальцами тычут: вот он-де срок кончает, — но сам он в это не больно верит. Вон, у кого в войну срок кончался, всех до особого распоряжения держали, до сорок шестого года. У кого и основного-то сроку три года было, так пять лет пересидки получилось. Закон — он выворотной. Кончится десятка — скажут: на тебе ещё одну. Или в ссылку.

А иной раз подумаешь — дух сопрёт: срок-то всё ж кончается, катушка-то на размоте... Господи! Своими ногами — да на волю, а?

Только вслух об том высказывать старому лагернику непристойно. И Шухов Кильдигсу:

— Двадцать пять ты свои не считай. Двадцать пять сидеть ли, нет ли, это ещё вилами по воде. А уж я отсидел восемь полных, так это точно.

Так вот живёшь об землю рожей, и времени-то не бывает подумать: как сел? да как выйдешь?

Считается по делу, что Шухов за измену родине сел. И показания он дал, что таки да, он сдался в плен, желая изменить родине, а вернулся из плена потому, что выполнял задание немецкой разведки. Какое ж задание — ни Шухов сам не мог придумать, ни следователь. Так и оставили просто — задание.

В контрразведке били Шухова много. И расчёт был у Шухова простой: не подпишешь — бушлат деревянный, подпишешь — хоть поживёшь ещё малость. Подписал.

А было вот как: в феврале сорок второго года на Северо-Западном окружили их армию всю, и с самолётов им ничего жрать не бросали, а и самолётов тех не было. Дошли до того, что строгали копыта с лошадей околевших, размачивали ту роговицу в воде и ели. И стрелять было нечем. И так их помалу немцы по лесам ловили и брали. И вот в группе такой одной Шухов в плену побыл пару дней, там же, в лесах, — и убежали они впятером. И ещё по лесам, по болотам покрались — чудом к своим попали. Только двоих автоматчик свой на месте уложил, третий от ран умер, — двое их и дошло. Были б умней — сказали б, что по лесам бродили, и ничего б им. А они открылись: мол, из плена немецкого. Из плена?? Мать вашу так! Фашистские агенты! И за решётку. Было б их пять, может, сличили показания, поверили б, а двоим никак: сговорились, мол, гады, насчёт побега.

Сенька Клевшин услышал через глушь свою, что о побеге из плена говорят, и сказал громко:

— Я из плена три раза бежал. И три раза ловили.

Сенька, терпельник, всё молчит больше: людей не слышит и в разговор не вмешивается. Так про него и знают мало, только то, что он в Бухенвальде сидел и там в подпольной организации был, оружие в зону носил для восстания. И как его немцы за руки сзади спины подвешивали и палками били.

— Ты, Ваня, восемь сидел — в каких лагерях? — Кильдигс перечит. — Ты в бытовых сидел, вы там с бабами жили. Вы номеров не носили. А вот в каторжном восемь лет посиди. Ещё никто не просидел.

— С бабами!.. С *балáнами*, а не с бабами...

С брёвнами, значит.

В огонь печной Шухов уставился, и вспомнились ему семь лет его на севере. И как он на бревнотаске три года укачивал тарный кряж да шпальник. И костра вот так же огонь переменный — на лесоповале, да не дневном, а ночном повале. Закон был такой у начальника: бригада, не выполнившая дневного задания, остаётся на ночь в лесу.

Уж за полночь до лагеря дотянутся, утром опять в лес.

— Не-ет, братцы... здесь поспокойнѐй, пожалуй, — прошепелявил он. — Тут съём — закон. Выполнил, не выполнил — катись в зону. И гарантийка тут на сто грамм выше. Тут — жить можно. Особый — и пусть он особый, номера тебе мешают, что ль? Они не весят, номера.

— Пospoкойнѐй! — Фетюков шипит (дело к перерыву, и все к печке подтянулись). — Людей в постелях режут! Пospoкойнѐй!..

— Нэ людын, а стукачѐв! — Павло палец поднял, грозит Фетюкову.

И правда, чего-то новое в лагере началось. Двух стукачей известных прям на вагонке зарезали, по подъѐму. И потом ещё работягу невинного — место, что ль, спутали. И один стукач сам к начальству в БУР убежал, там его, в тюрьме каменной, и спрятали. Чудно... Такого в бытовых не было. Да и здесь-то не было...

Вдруг прогудел гудок с энергопоезда. Он не сразу во всю мочь загудел, а сперва хрипловато так, будто горло прочищал.

Полдня — долой! Перерыв обеденный!

Эх, пропустили! Давно б в столовую идти, очередь заниматься. На объекте одиннадцать бригад, а в столовую больше двух не входит.

Бригадира всё нет. Павло окинул оком быстрым и так решил:

— Шухов и Гопчик — со мной! Кильдигс! Як Гопчика до вас пришлю — ведить з́араз бригаду!

Места их у печи тут же и захватили, окружили ту печку, как бабу, все обнимать лезут.

— Кончай ночевать! — кричат ребята. — Закуривай!

И друг на друга смотрят — кто закурит. А закуривать некому — или табака нет, или зажимают, показать не хотят.

Вышли наружу с Павлом. И Гопчик сзади зайчишкой бежит.

— Потёплело, — сразу определил Шухов. — Градусов восемнадцать, не боле. Хорошо будет класть.

Оглянулись на шлакоблоки — уж ребята на подмости покидали многие, а какие и на перекрытие, на второй этаж.

И солнце тоже Шухов проверил, сощурясь, — насчёт кавторангова декрета.

А наоткрыте, где ветру простор, всё же потягивает, пощипывает. Не забывайся, мол, помни январь.

Производственная кухня — это халабуда маленькая, из тёсу сколоченная вокруг печи, да ещё жостью проржавленной обитая, чтобы шели закрыть. Внутри халабуду надвое делит перегородка — на кухню и на столовую. Одинаково, что на кухне полы не стелены, что в столовой. Как землю заторили ногами, так и осталась в буграх да в ямках. А кухня вся — печь квадратная, в неё котёл вмазан.

Орудуют на той кухне двое — повар и санинструктор. С утра, как из лагеря выходить, получает повар на большой лагерной кухне крупу. На брата, наверно, грамм по пятьдесят,